**"Мне на плечи кидается век-волкодав..."**

Быть может, я тебе не нужен.

Ночь; из пучины мировой,

Как раковина без жемчужин,

Я выброшен на берег твой.

О. Мандельштам

Осип Эмильевич Мандельштам знал подлинную цену себе и своему творчеству, считал, что повлияет “на русскую поэзию, кое-что изменив в ее строении и составе”. Никогда и ни в чем не изменял поэт себе. Позиции пророка и жреца предпочитал позицию живущего вместе и среди людей, созидающего то, что необходимо его народу.

Дано мне тело — что мне делать с ним.

Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить

Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,

В темнице мира я не одинок.

За талантливую поэзию наградой ему были гонения, нищета и в конце концов гибель. Но правдивые, оплаченные высокой ценой стихи, десятилетия не печатавшиеся, жестоко преследующиеся, выжили... и теперь вошли в наше сознание как высокие образцы человеческого достоинства, несгибаемой воли и гениальности.

В Петрополе прозрачном мы умрем.

Где властвует над нами Прозерпина.

Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,

И каждый час нам смертная година.

В Петербурге Мандельштам начал писать стихи, сюда возвращался ненадолго, этот город считал “своей Родиной”.

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,

До прожилок, до детских припухших желез.

Я вернулся сюда,— так глотай же скорей

Рыбий жир ленинградских речных фонарей.

Мандельштам был по-детски открытым и радостным человеком, идущим навстречу людям с чистой душой, не умеющим лгать и притворяться. Никогда не торговал он своим талантом, предпочитая сытости и комфорту свободу: благополучие не было для него условием творчества. Несчастий он не искал, но и за счастьем не гонялся.

Ах, тяжелые соты и нежные сети,

Легче камень поднять, чем имя твое повторить!

У меня остается одна забота на свете:

Золотая забота, как времени бремя избыть.

Словно темную воду, я пью помутневший воздух.

Время вспахано плугом, и роза землею была.

Поэт знал и ему не безразлична была цена, которую надо было платить за жизненные блага и даже — за счастье жить. Судьба изрядно била и трепала его, неоднократно подводила к последней черте, и лишь счастливая случайность спасала поэта в решающий момент.

Декабрь торжественный сияет над Невой.

Двенадцать месяцев поют о смертном часе.

Нет, не Соломинка в торжественном атласе

Вкушает медленный, томительный покой.

По свидетельству Ахматовой, Мандельштам в 42 года “отяжелел, поседел, стал плохо дышать — производил впечатление старика, но глаза по-прежнему сияли. Стихи становились все лучше. Проза тоже”. Интересно соединялось в поэте физическое одряхление с поэтической и духовной мощью.

Колют ресницы, в груди прикипела слеза.

Чую без страху, что будет и будет гроза.

Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.

Душно,— и все-таки до смерти хочется жить.

Что же давало силы поэту? Творчество. “Поэзия — это власть”,— сказал он Ахматовой. Это власть над собой, болезнями и слабостями, над людскими душами, над вечностью давала силы жить и творить, быть независимым и безрассудным.

За гремучую доблесть грядущих веков,

За высокое племя людей

Я лишился и чаши на пире отцов,

И веселья и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав.

Но не волк я по крови своей,

Запихай меня лучше, как шапку, в рукав

Жаркой шубы сибирских степей.

Поэт искренне пытался слиться с временем, вписаться в новую действительность, но постоянно ощущал ее враждебность. Со временем этот разлад становился все ощутимей, а потом и убийствен.

Век мой, зверь мой, кто сумеет

Заглянуть в твои зрачки

И своею кровью склеит

Двух столетий позвонки.

В жизни Мандельштам не был борцом и бойцом, ему ведо- мы были сомнения и страх, но в поэзии он был непобедимым героем, преодолевающим все трудности.

Чур! Не просить, не жаловаться!

Цыц! Не хныкать! Для того ли разночинцы

Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?

Мы умрем, как пехотинцы.

Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи!

Критики обвиняли Мандельштама в оторванности от жизни, ее проблем, но он был очень конкретен, а это было страшнее всего для властей. Так он писал о репрессиях 30-х годов:

Помоги, Господь, эту ночь прожить:

Я за жизнь боюсь — за твою рабу,

В Петербурге жить — словно спать в гробу.

“Стихи должны быть гражданскими”,— считал поэт. Его стихотворение “Мы живем, под собою не чуя страны...” было равносильно самоубийству, ведь о “земном боге” он писал:

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны.

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.

Простить такое поэту не могли, власти уничтожили его самого, но поэзия осталась, выжила и теперь говорит правду о своем творце.

Где больше неба мне — там я бродить готов,

И ясная тоска меня не отпускает

От молодых еще воронежских холмов

К всечеловеческим — яснеющим в Тоскане.